

Ленинградская правда - Ленинград - 1990 - 10 февр.

ПРИМЕР ПОЭТА

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Пастернака

РОССИЮ не назовешь счастливой страной. Ей не везло с историей, географией, правительством, соседями, официальной идеологией, урожаями, климатом... да мало ли с чем! Зато ей повезло с поэтами. Что бы мы делали без них? Поэзия оставалась последней нашей защитницей и надеждой в самых тяжелых и трагических испытаниях XX века.

В Павловском парке стоит колоннада Аполлона; особенно хорош и странен бог поэзии зимой, полусыпанный снегом, под мглистыми, хмурыми небесами. Как далеко он зашел на Север, вот где его последний приют и рубеж!

В прошлом и позапрошлом годах мне привелось побывать в западных теплых странах, ушедших от нас далеко вперед по пути демократии и благосостояния, и, пожалуй, только в поэзии мы опередили всех.

Юбилей громоздки и утомительны, но разве можно жаловаться? В прошлом году Ахматова, в нынешнем — Пастернак, а затем Мандельштам, Цветаева — лучшие поэты XX века вошли в полосу своих столетних годовщин.

Мне хочется высказать несколько мыслей в связи творчеством и жизнью Бориса Пастернака, на которые наталкивает сегодняшний день. Для себя я сформулировал тему статьи так: «Уроки Пастернака», но что как раз меня смущает, так это неумение и нежелание Пастернака давать уроки, учить, поучать, навязывать свои представления о должном — недаром он любил Чехова.

Дидактики, глаголов в повелительном наклонении нет ни в его прозе, ни в его стихах (за исключением двух-трех стихотворений, обращенных к стати сказать, к самому себе: «Не спи, не спи, художник...», «Не надо заводить архива...»). Сегодня, когда дидактика в таком ходу, когда малограмотные писатели поучают взрослых людей, «пасут народы», думаю, что Пастернак если чему и учит, то именно отказу от поучений: поэзия и назидание несовместимы, поэзия и морализаторство так же несоединимы, как поэзия и пошлость.

Я сказал, что хочу назвать свои заметки «Уроки Пастернака». Беру свои слова назад. Не уроки, нет, «Пример Пастернака» — так будет лучше и точней.

«Как я себя чувствую? Да несчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия для того, чтобы удавалось то, что я задумал, это неустрашимое условие.»

Речь в письме Пастернака идет, конечно, не об эгоистическом счастье самовлюбленного человека на фоне народных бедствий — не помню, кто, критик или поэт (если поэт, то тем хуже для него) недавно пытался нам внушить именно такое объяснение, — речь идет о творческом состоянии. И тут мне хотелось бы сказать, что не только поэт, но

и любой человек труда знает это счастье, несмотря на всю трагедию жизни.

О чем говорить! По сравнению с Пастернаком мы живем в сказочно благоприятных условиях, не стоит об этом забывать посреди наших неурядиц и опасений, и грех уныния — тяжкий грех.

«Сестра моя — жизнь» — счастливая книга!

ЭТО — круто налившийся свист, Это — щелканье сдавленных льдинок, Это — ночь, леденящая лист, Это — двух соловьев поединок...

Для человека, любящего поэзию, «Сестра моя — жизнь» — картотека счастья, справочник земных щедрот, приходящих к нам в неслыханном разнообразии стихотворных ритмов. Пастернак обновил мелодику русского стиха, ритмический рисунок его стихов — открытие, доставляющее нам почти физическое удовольствие, сопоставимое с речным купанием, с лежанием на солнце.

Человек, обладающий поэтическим слухом (поэтический слух существует так же, как музыкальный), испытывает это удовольствие, проборматывая про себя такие, например, стихи:

...ДУМАЛ, — Трои б
Горьких губ изгиб целуя, век ей,
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.
Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

То же относится и к книге «Темы и вариации», ко всему лучшему, что сделано Пастернаком. И что, как не чувство счастья, дарит нам стихотворение «Август», а ведь оно написано в 1953 году и речь в нем идет о смерти:

ПРОЩАЙ, лазурь
преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской
женского
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы
безвременщины!..

Сегодня, когда в нашей поэзии так распространено уныние, подавленность чувств, всевозможное нытье, когда стих не летит, а ползет, придавленный к земле душевной вялостью и это выдается за трагическое мироощущение, какой свежестью и подлинностью веет от пастернаковских слов: «...искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования». Вот воистину современное, полное человеческого достоинства определение, выстраданное художником в железных тисках XX века!

Владимир Соловьев, которого я сейчас читаю, объясняет отказ Платона от самоубийства после смерти своего учителя Сократа тем, что сущность сократовского учения состояла как раз в том, что независимо ни от каких фактов и положений есть безусловный, по существу добрый, смысл бытия; а признанием этого прямо исключается такой акт отчаяния, как самоубийство, т. е. самоубийство было бы изменой Сократу, его учению.



Поэзия знает, во всяком случае Пастернак знал, этот «по существу добрый смысл бытия». Поэзия возвращает нас к нему, и в этом ее сила. Добрый смысл бытия — это признание существования в мире Правды, ее неотменимости вопреки всем ухищрениям зла.

Со всем этим связано понимание необходимости для художника жизни в тени, вне прожекторов и шумихи: «Жизнь вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю».

Здесь сказано о том творческом «покое и воле», которые и в пушкинском представлении были синонимом счастья, приобретаемого «в обители дальней трудов и чистых нег». Мы знаем, чего стоила Пушкину близость к власти, — стоила жизни. Наша история складывалась так, что в XX веке в той империи, которая у нас опять сложилась к концу 20-х годов, этот мотив отношения поэта и власти, поэта и царя, только куда более страшного, чем Николай, приобрел, как говорится, новое, неслыханное звучание.

МЫ ЗНАЕМ, сколько художников было втянуто в губительные отношения: и Горький, и Маяковский, и Булгаков, и Зощенко, и даже Мандельштам, каждый по-своему был затанцован стальными зубцами государственной машины в смертельный барабан.

Пастернак не избегал ни общей участи, ни ложных шагов, но нашел в себе силы выпутаться из паутины, осудить в себе что-то, осмыслить случившееся, уйти со сцены, погрузиться в тень, обресть себя на прижизненное забвение, на каторжный труд переводчика.

Почему об этом следует говорить? Потому что соблазн сближения с властью работал и развращал поэтов на наших глазах и в другие, куда более легкие времена. Только жизнь честного человека дает возможность поэту сохранить независимость и достоинство, осуществить свою задачу — «внести гармонию во внешний мир» — так сформулировал ее Блок.

Для этого следует многим пожертвовать, а главное — преодолеть тщеславие, без которого, наверное, нет художника, во всяком случае — в начале пути; для этого от Пастернака требовалось проявить мужество, силу духа и просто человеческую смелость.

Пример этой замечательной смелости у нас перед глазами — в отсутствии его имени под письмами, одобряющими казни.

«Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как я уцелел за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!» (январь 1954).

Он не только не ставил подписи под страшными коллективными письмами, но написал опальному Бухарину, переписываясь с поднадзорными и ссыльными, помогал Ахматовой и т. д. И при этом сам был, как «волк в загоне» затравлен и обложен.

При этом не позволял себе «спать», «не поддавался сну», его творческая мысль, находясь «у времени в плену», не предавала «вечности», обращалась к ней, работала на нее: «Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевероты длятся недели, многие годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевероту, как святыне».

«УДИВИТЕЛЬНО, как я уцелел за те страшные годы». Как же все-таки он уцелел? Особенно в 30-е, будучи тогда вовлечен в опасную орбиту, приближен и замечен? Думаю, что спастись ему помогло его неординарное поведение и, может быть, та почти «социальная» роль высокого поэта, которую он на себя взял. Спаслись кто как мог. Олеша, например, изображал шута, ресторанный завсегдатай — и маска приросла к нему. Пастернак спасся по-своему, но тут надо сказать, что эта роль, если такое поведение можно назвать ролью, необычайно ему шла, так как он и в самом деле вел разговор «о жизни и смерти», писал о вечном, хотя и «у времени в плену». Была ли здесь доля расчета? Наверное, была. Да, он знал, как произвести впечатление на Сталина, в стихах, разумеется, ничего не понимавшего. Но и Пушкин рассчитывал свое поведение, писал Бенкендорфу, обдумывал разговор с царем.

Пастернак сохранил себе жизнь не только потому, что нашел удачный «образ», но и потому, что входил в этот образ ему было чрезвычайно просто: он и в самом деле вел разговор на высоте, как ведет его ливень, он и в самом деле летал такими «воздушными путями», на которые не поднимались другие, он и в самом деле бубнил, гудел, пел, — не притворялся!

И благородство, и благожелательность были в его натуре, так же как артистизм, он легко сходилась с людьми, в нем самом было то очарование, которое нас так радует в его стихах и прозе.

Он родился в рубашке. Не только огромный талант, но и влияние семьи, интеллигентной среды трудно переоценить. С детства, кроме поэзии, над ним склонялись музыка и живопись (мать — пианистка, отец — художник).

По поводу эпизода, рассказанного им в автобиографии, как его четырехлетний ребенок вынесли заплаканного ночью к гостям — и он увидел старика, и это был Лев Толстой, — Ахматова с за-

вистью говорила: «Боренька знал, когда проснуться».

Ему жилось нелегко, но он не был репрессирован и не попал под Постановление. Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго» и весь ужасный эпизод с проработкой последних лет свел его в могилу, но принес ему мировую славу.

Мне кажется, ему продолжает везти и сегодня. В каком смысле? А в том, что он счастливо избежал участи тех, «кому быть живым и хвалимым» по принуждению, по разнарядке или каким-либо иным, посторонним соображениям.

Этот замечательный поэт с его обожанием России, русской культуры, природы, людей, языка разрушает самим своим существованием в русской поэзии — мрачные теории квасных патриотов.

Здесь нет места и возможности сказать о многом, в том числе о самом главном — его стихе, влетевшем в нашу поэзию, как шаровая молния, устроенном по принципу «чем случайней, тем вернее». Пастернак и впрямь не поэт, а явление природы, но лучше всех об этом сказала Цветаева.

Не удастся поговорить и о таких, уже профессиональных вещах, как проблема «сложности» и «неслыханной простоты» в поэзии. Замечу только что, как мне кажется, напрасно Пастернак стеснялся сложности своих ранних стихов. Большой поэт опережает время и своих современников, но он же приучает читателей к новым возможностям стиха, создает, растет в своей поэтической школе несколько поколений любителей поэзии; можно сказать, что время в конце концов поднимается не только до его поэтической мысли и «добрых чувств», «пробуждаемых лирой», но и до его поэтики.

Для людей моего поколения слово «Пастернак» было паролем, по которому мы отличали своих от чужих: так было в конце 50-х, когда он погибал, а для нас, тогда столь юных, любовь к его поэзии была не просто свидетельством порядочности. Человек, не способный ощутить прелесть его стихов, становился чуждым духовно, с ним «не о чем было говорить».

СЕГОДНЯ, когда мы отмечаем 100-летний юбилей поэта, когда в любви Пастернаку кланутся многие, в том числе и бывшие гонители, и те, кто стихов никогда не читает, тот прежний, юношеский максимализм кажется мне не только неактуальным, но и несколько наивным.

Любовь к поэзии потому и любовь, что предполагает свободный выбор, нельзя путать поэзию с модой, нельзя навязывать поэта, воспользуемся его собственным выражением, «как картофель при Екатерине». Хочется, чтобы юбилей не свелся к «медным трубам», чтобы любовь к Пастернаку оставалась сердечным, интимным делом тех, кто, глядя на плачущий сад, с нежностью и благодарностью твердит про себя:

УЖАСНЫЙ! — Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в саду,
как кружевце,
Или есть свидетель...

Александр КУШНЕР